



# СОДЕРЖАНИЕ

УЛИЦА СВОБОДЫ .....	7
---------------------	---

## **ФАКТЫ СЕРДЦА. Проза**

РОЖДЕНИЕ .....	29
ЕВА И МЯСОЕДОВ .....	139
ДОМ В ДЕРЕВНЕ .....	224
СЕРПИК ЛУНЫ .....	298
ОЙОХА .....	329
ЗА СЧАСТЬЕМ .....	341

## **ОТ СЕБЯ ЛИЧНО. Эссе**

О ПУШКИНЕ ПОНЕВОЛЕ .....	353
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ: ВДРУГ .....	381

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, СТОЛЫПИН И ИЕРОМОНАХ ИЛИОДОР . . . . .	389
ЗАМЕТКИ О БИОГРАФИЧЕСКОМ ЖАНРЕ. . . . .	406
МИХАИЛ БУЛГАКОВ: ПОСЛЕ ВАШЕЙ СМЕРТИ ВСЕ БУДЕТ НАПЕЧАТАНО . . . . .	423
ПРИШВИН И БУНИН: ДВУХ СОЛОВЬЕВ ПОЕДИНОК . . . . .	447
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ: ЯД ОТЖИВШЕЙ МЕЧТЫ. . . . .	487
ПОЧЕМУ ШУКШИН? . . . . .	492
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ: ЧТО ПОЗАДИ? . . . . .	502
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН: РУССКИЙ ВЕК . . . . .	506
БОРИС ЕКИМОВ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ. . . . .	515
РЕЧЬ ДРУГА ЖЕНИХА . . . . .	523
МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК ПРИШЕЛ КО МНЕ САМ . . . . .	531
КАНАЛЯ В БАРАШКОВОЙ ШАПКЕ . . . . .	538

# Улица Свободы

**Я** стал писать благодаря своей бабушке Марии Анемподистовне Мясоедовой. Как у многих русских женщин XX века, у нее была фантастическая, тяжелейшая и прекрасная судьба, которая сама по себе есть роман. Внучка богатого купца-мукомола, которого до сих пор чтут и помнят в Твери, умная, замечательно образованная, чего только не испытывавшая на своем веку, она сочиняла любительские стихи и рассказы и несла в себе тот писательский ген, который — мне хотелось бы в это верить — передался одному из ее шести внуков. Больше того, я имею некоторые основания полагать, что Мария Анемподистовна сама этому поспособствовала. Во всяком случае, самое первое воспоминание из моего младенчества, как бабушка носит меня на руках по двухкомнатной квартире на Автозаводской улице на рабочей окраине Москвы и показывает огромный мир внутри дома и за его пределами, пробуждая любопытство и внимание к подробностям бытия. Мне кажется, я тянулся не к погремушкам над кроватью, а к далеким предметам. И одним из них, самым важным со временем стала

немецкая пишущая машинка *Torpedo* с красивыми круглыми клавишами, на которой бабушка иногда разрешала мне печатать. Каким удивительным, чудесным казался мне этот процесс! Буквы, которые я с таким трудом учился писать, получались благодаря бабушкиной машинке идеально ровными — надо было только не ошибиться с клавишей, но сама по себе возможность что-то не написать рукой, а напечатать таинственным образом приближала к литературе, к журналу, к книге и превращала меня в автора. Позднее я почти всегда печатал свои тексты на машинке, а не писал от руки по той причине, что не мог разобрать собственного почерка, рука не поспевала угнаться за мыслью, а на машинке, хоть и мазал в угаре по клавишам, все-таки понять текст и работать с ним было легче.

Когда я еще подросток, бабушка намеренно или нет принялась рассказывать мне многое из своей жизни, о чем, конечно, смогла бы гораздо лучше написать сама, но у нее не было времени всерьез заниматься литературой, и все это, ею пережитое, досталось мне в качестве драгоценного наследства, которым я, как умел, принялся распоряжаться, и многое в моей прозе было связано с ней, и прежде всего, в семейном предании «Ева и Мясоедов». В бабушкиной судьбе было много загадочного, непонятного, того, чего она по разным причинам недоговаривала, не рассказывала, не желая портить маленькому мальчику благополучную советскую картину мира, и многие вещи мне приходилось потом уже выяснять у ее сыновей, моих дядьев, ее дочери — моей матушки, либо додумывать. Но помимо собственной семейной саги она в каком-то смысле подарила мне весь XX век, чьей ровесницей была, и открыла его передо мной. Много лет спустя, когда я стал

писать книги для серии «ЖЗЛ», я писал именно о веке двадцатом и не ходил дальше и глубже в историю, потому что это столетие благодаря бабушке я осознал, а девятнадцатое уже нет.

Но это случилось позднее, пока же в 1960-е и 1970-е я жил обычной жизнью советского ребенка: детский садик, двор, стадион (как и машинка, он назывался «Торпедо»), окружная железная дорога, трубы теплоэлектроцентрали, завод «ЗИЛ», бассейн, Дворец пионеров на Ленинских горах, английская спецшкола с ее полицейскими порядками, вольный университет, картошка в совхозе «Клементьево», дачный участок под Москвой в Купавне близ Бисерова озера, звезды, ужение рыбы, велосипед, узкоколейка, ведущая к карьере, заброшенный храм в Кудинове, весенний лес, половодье. Однако самым главным в моей жизни была жажда покинуть этот тесный мирок и увидеть мир огромный. То было целью, литература оказалась средством. Она разламывала стены, границы, перегородки между людьми, временами, странами и городами. Чтение и правда стало моим любимым занятием и не то чтобы потеснило реальную жизнь, но сделалось ее частью. И чтение же подхлестывало желание писать самому. Я начинал с того, что выдумывал разные истории по дороге в школу, на дачу или на каток, потому что просто идти и глазеть по сторонам без книги в руках было скучно, а вот рассказывать что-то самому себе интересно. Это были непонятные мне до сих пор мыслительные, душевные процессы, бесконечные внутренние потоки переживаний, реальных и мнимых страхов, комплексов, немоты, сумятицы, неясных мечтаний, желаний, снов (я всю свою жизнь каждую без исключения ночь вижу очень яркие, подроб-

ные, запоминающиеся сны), бессознательных молитв, которые просились в слово.

Впрочем, первое, что я написал, было продолжением трилогии Николая Носова о Незнайке. Мне было так жалко, что она закончилась, и я уселся сочинять продолжение «Незнайка на Марсе» в общей тетрадке за 48 копеек. (Значит, машинка была все-таки позже.) На обложке написал имя автора, страну СССР и год — 1972-й. Мне было тогда девять лет. Моим первым и единственным читателем стала соседка по парте Ирочка Шуваева, обнаружившая на страницах моего сиквела несметное количество грамматических ошибок, а обо всем прочем ничего не сказавшая.

Напечатался же я в первый раз в двадцать четыре года в двенадцатом номере журнала «Октябрь» за 1987 год. Я окончил незадолго до этого филфак МГУ, так и не разобравшись до сих пор, правильным или нет было это образование, но на факультете мне училось хорошо, интересно, радостно. Про Литинститут я не думал — он казался мне недостижимым. Однако литература все больше влекла, еще на первом курсе я написал ужасный «антисоветский» роман под названием «Дачные страсти», при том что мое «бунтарство» никогда не доходило до диссидентства, однако читать самиздат, ругать власть считалась в той среде, где я вращался, хорошим тоном, а быть активистом, делать карьеру, вступать в партию — дурным. Потом я стал сочинять рассказы и почувствовал острую потребность с кем-то всем этим богатством поделиться из людей опытных, компетентных. Сначала душил по углам своих университетских друзей и охмурил в съемной квартире № 50 в Теплом Стане литературой будущую жену, а потом оказался на улице Писемского

в литобъединении при Московской писательской организации. Вел его совершенно неизвестный мне прозаик Федор Колунцев — тбилисский армянин, чье настоящее имя было Тадэос Ависович Бархадурян. (Любопытства ради я взял в библиотеке несколько его книг и обнаружил, что они были очень хороши, но большой славы Колунцев не снискал, и это стало одним из моих первых литературных открытий и разочарований — как несправедлива, однако, бывает писательская судьба!)

Его студийцами, хотя это слово мы не использовали, были двадцать парней — литература тогда была еще преимущественно делом мужским — каждый из которых, вероятно, считал себя если не гением, то литературно очень и очень одаренным, всех остальных — графоманами, и громили мы друг друга, изничтожали по-страшному. Колунцев за этим мордобоем следил, никого из критиков никогда не перебивая и запрещая творцам во время обсуждений защищаться и твердить, что все кругом уроды и их не так поняли. «Вы уже все сказали», — объяснял он обсуждаемому избраннику, а потом недолго и тактично говорил сам, давая очень точные оценки нашим опусам. Иногда, правда, Колунцев выходил из себя и тоже ругался, много курил, рассказывал про свои поездки в Югославию и Испанию — в общем, это было полезно, здорово, волнительно, а главное, готовило к будущей литературной жизни. (Когда потом меня долбала критика и чесались руки ответить, я всегда вспоминал Колунцева и его уроки.) Продолжалось наше молодое писательское счастье года два, а в 1988-м Федор Ависович умер, и некоторое время занятия вел прославившийся после публикации «Тучки» Анатолий Приставкин. Но,



как это бывает, хороший писатель и хороший мастер не всегда совпадают, да и у Приставкина были куда более важные дела и заботы, чем молодые, честолюбивые оглоеды. Студия вскоре развалилась, вслед за ней развалился Советский Союз, ну и вместе с ним Союз писателей СССР, куда я не успел вступить.

И все-таки чуточку советским писателем я побывал. За свой первый трехстраничный рассказ «Тараканы», написанный в один присест, я получил 180 рублей — больше, чем зарабатывал в университете за целый месяц, преподавая русский язык иностранцам. Получил и подумал: а сколько ж тогда платят за повесть, за роман? Конечно, это были неглавные мысли, я был так счастлив самим фактом публикации, тем более что в ту пору начинающим авторам пробиться в толстые журналы было делом немыслимым — все они печатали «возвращенную литературу» и для текущей места было в обрез, даже для писателей с именами. Так что «Октябрю», который традиционно отдавал последний номер года молодым, я бесконечно обязан. Потом я успел еще издать первую книжечку (тиражом 75 000), побывать на совещании молодых писателей в Подмоскovie, которые устраивал комсомол, и на союзписательском семинаре в Пицунде, но в конце 1980-х это был уже сплошной разброд и шатание. В литературе все резче шло деление на правых и левых, толстые и тонкие журналы ругались друг с другом, все кричали, никто никого не слушал, рушились старинные писательские дружбы, сыпались взаимные обвинения, подписывались коллективные письма протеста и, казалось, весь литературный мир превратился в драчливое литобъединение на улице Писемского.

Я был по своим взглядам ближе к почвенникам, мне нравилась деревенская проза, которую я как-то не оценил, учась в университете и предпочитая тогда западных авторов, но теперь Белов, Распутин, Астафьев сделались моими кумирами. Но — не Бондарев, например. Не Проскурин. Не Проханов. Приобретенный в молодости на семинарах по марксистско-ленинской философии антикоммунизм был во мне стоек, и я не мог забыть, как ходил по Садовому кольцу и упоенно орал «Долой КПСС!» в перестройку и как потом был счастлив, что советская система рухнула и в августе 1991-го ничего у коммуняк не получилось. Само слово «советский» было для меня ругательным в противовес слову «русский». Позднее моим любимейшим и самым близким по духу писателем станет Леонид Бородин, отсидевший за свои русские, антисоветские убеждения много лет в брежневских и андроповских тюрьмах.

1990-е были, наверное, самыми трудными, важными и прекрасными в моей жизни. Я их ненавидел и любил, у меня многое получалось, но еще больше — не получалось. Я был уже женат, однако жили мы довольно скудно, и я чувствовал себя обманутым, проигравшим, тем более что почти все мои друзья-филологи ушли из профессии и занимались кто чем: торговали недвижимостью, туристическими путевками, мебелью; они разбогатели, поднялись, а кто был я? Прозаик. «Про заек», как тогда острили. Я получал гроши за свои повести и романы, пусть даже они печатались в самых лучших толстых журналах, и к «Октябрю» прибавились «Знамя», а потом «Новый мир», «Грани» — несмотря на мое почвенничество, меня печатали журналы преимущественно либеральные. У меня выходили книжки, конечно, не такими боль-

шими тиражами, как самая первая, но все же выходили. Потихоньку что-то переводилось на другие языки, моя литературная судьба складывалась как будто удачно, а между тем порой не хватало денег на фрукты детям, и я понимал, что делаю не то.

Конечно, мы не голодали, не нищенствовали в прямом смысле слова, мы не пережили в Москве то, что испытали бывшие подданные советской империи на ее окраинах. У нас была, по выражению одного моего доброго друга, «опрятная бедность». Но по-человечески, по-мужски я ощущал свою несостоятельность из-за того, что не могу поехать с семьей никуда, кроме дачного участка под Москвой, и все лето вынужден вкалывать на огороде, чтобы зимой было что есть, а в оставшееся от прополки, окучивания, сбора урожая и консервирования время дотемна тюкать одним пальцем на красной югославской машинке *Unis* (я купил ее на свою первую зарплату вместо пришедшей в негодность *Torpedo*, а народ уже постепенно переходил на компьютеры) не приносящую доходов прозу. Я недаром назвал свой первый роман «Лох» — словом, которое тогда только вошло в употребление, но лишь годы спустя понял, что по большому счету мои летние трудовни и трудоночи были тем счастьем, которое не чувствуешь, покуда оно есть, а ощущаешь только в воспоминаниях...

Впрочем, иногда судьба становилась ко мне благосклонней. Так, в самом конце 1995 года мне позвонили из «Независимой газеты» и попросили приехать. Ни о чем не подозревая, я добрался до Мясницкой по давно пробитому трамвайному талону, больше всего на свете опасаясь контролеров. В редакции меня завели в небольшую комнату и с таинственным видом протя-

нули листок бумаги. Там было написано, что накануне состоялось заседание жюри вновь учрежденной премии «Антибукер» за лучшее прозаическое произведение года, и таковым была признана моя повесть «Рождение». А еще там было сказано, что победитель получит 12 501 доллар (на один больше, чем лауреаты «Букера», в пик которого эта премия была учреждена).

Это могло быть только розыгрышем и ничем иным. До этого я не держал в руках ни одного доллара. Первый получил 21 декабря 1995-го, то есть акkurat в день рождения Сталина, как тогда считалось\*, в клубе миллионеров на Большой Коммунистической улице. Зеленую купюру с хитроумным Джорджем Вашингтоном на лицевой стороне и пирамидой с всевидящим оком на обороте мне вручил председатель жюри, главред «Независимой газеты» Виталий Третьяков и отправил домой в Тушино на своей служебной машине, чтобы никто не позарился на остальные деньги. Но денег-то как раз и не было, вместо них я мог любоваться тощим конвертом и вложенным в него листочком, где было написано: по поводу получения остальной части премии позвонить по телефону такому-то.

И я стал звонить. Позвоните завтра, позвоните послезавтра, через три дня, после Нового года... Все мои знакомые молодые литераторы, люди в высшей степени доброжелательные и незлобивые, уверяли меня в том, что никаких денег я не получу. В газете написали, по телеку показали, церемонию в клубе миллионеров устроили, чего тебе еще, парень, надо? Я, честно говоря, тоже так подумал и даже как-то смирился. Но

---

\* А сейчас внимательный редактор меня поправил: людоед родился 18 декабря.